

Соколов Саша Тревожная куколка

Саша Соколов

ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА

Ирине Ратушинской

...Все по плану Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом Бредил всеми землями, путая быль и небыль. ... Нам бы знать - за что нас так, Боже?

Ирина Ратушинская

Какая промашка! Вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо: Комо эста устё? - все спрашивают друг у друга: Комо эстан дос айрес? - и отвечают: Грасиас, грасиас муй буэнос, - и где ведомальчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вдобавок едет без рук, а кондуктор - обыкновенный трамвайный кондуктор - по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза, - то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных, и стать гражданином по имени Хорхе Борхес; а впрочем, нет, погодите, - в Упсаде - в неопикуемой Упсаде - или где-нибудь возле - в краю готической хмурой мудрости - и слывя профессором Ларсом Бакстрёмом, - быть им: во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить ворожбу, именуемую свенск поэй; или вот: не взыскую ни Рима, ниже Афин, - в несказанном Иерусалиме: о лучезарное детство на улице Долороса, среди вериг и преданий, - о Господи, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущего года, ведь можно явиться и под - в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет - в преисполненной былого величья и мулов Афуле, а нет - в развеселом Содоме - и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями эклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза; словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе - являешься и живешь черт-те где - лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском - и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще! Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи - связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некоей пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство? И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае - ноль вниманья. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь обставляла. Ища побороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: Слабонервных просят не беспокоиться, - трудоустроился в морг. Начав с помощника санитаря, выбился в препараты. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично, - значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все скончавшиеся в больнице. Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты - невольник присущего языка; клиентура - летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть - не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале - по скользкой эмали - кружился полномочный скелет - из бледно-оранжевой дали - струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта

отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий русский сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как судьбы, котлов, стерегущих возле аквариумов своих ювелирных рыб. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сача по, то амор, - твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Чу! Позвольте, но где же выбор? говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора не дано, отвечает он холодно и высоколобно. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы - счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность - для счастья. Ты не личность, роняет он, ты - личинка. Да как вы смеете - что за бестактность - этсетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные серые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже растроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я - неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я - немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я - ай. Я-я. Я- Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряжения. Я - враг твой. Я - бич. Я - неволя, недоля и дольняя незабудка. Я - любит-не-любит. Я - стерпится-слюбится, слюбится-воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровоточащую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я - язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует - де рококо. Пример, достойный всемерного подражания. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим - терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародеем мгновения, виртуозом эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платяя твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкал и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препараторского халата тут наблюдались: сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального брандмайора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы - в самое вольное из всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм! И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты пред высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? - сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я - дивная куколка, выросшая из простой полночной личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я

совершенно оуклен. Прямо роденовский Онорé. Благодарю Вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точней - бесконечно уютно. Но в целом - я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ау, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистодарской политики позднесредневековой Испании и лично Америго Вес-пуччи маршировал ты своим нелюбимым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубашку келейно. Ты похитил ее из дурдома словно герой-лазутчик - знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликования. В соответствующем документе значилось вождеденное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И - ликовал. И являлся в своей рубашке среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, державших гласить крамолу на съезжившихся площадях и в томных салонах. И в зале - по скользкой эмали - из бледно-оранжевой дали. О рубашка! Это именно в ней ты прожог свою юность, будто бы сигаретой - дыру. Ах, навывлет. Какая неаккуратность. Ну разве не ясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь - реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натуршиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстра-класса - класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу оукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нужды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И, сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем - в ребра, но кровью - в висок, но ею же-в барабанные перепонки свои, но воплем - в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводите - саван не шейте. Обрядите в рубашку - и баста. На память о том периоде, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно - мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколение. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглярском твоём шкалу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал великий американский мечтатель Уолт Уитмен, а именно: ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа оуклен тебе подобно - обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. Ведь казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле таким же - как у тебя и у каждого - красным смирительным. И исполнилось предреченное им в страшных видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови и стал пыльцою на крыльях твоих. Потому что в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, крыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознавал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык - как и прежде - влачился вниз, во прахе немилый юдоли, или лежал, как бесправный больничный труп - жертва летального безъязычия. И тупые, бескрылые препараты в алых косоворотках все глумились над ним, язвя. О несчастный, бессильный, оукленный и оглуленный русский язык, говорил ты себе, перефразируя Ивана Тургенева. И молился. Господи, сохрани и помилуй присущее нам

наречие, ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смиренных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Возри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон - разбуди и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, мбли. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прощелести опавшим листом - листом ли рукописи - бамбуковой рощей; за что?